

«... СООБРАЗНО С ДЕЛАМИ СВОИМИ»

Второй эпиграф к роману М. Булгакова «Белая гвардия»



Последние дни



Боги, боги мои!
Как грустна вечерняя земля!
Как таинственны туманы над болотами.
Кто блуждал в этих туманах,
Кто много страдал перед смертью,
Кто летел над этой землей,
Неся на себе непосильный груз,
Тот это знает.
Это знает уставший.
И он без сожаления
Покидает туманы земли,
Ее болотца и реки,
Он отдается с легким сердцем
В руки смерти,
Зная, что только она одна
успокоит его.

Из письма
Е. С. Булгаковой —
Н. А. Булгакову
в Париж

5 января 1961 г.

Теперь хочу рассказать Вам подробнее о смерти Миши, как это мне ни трудно делать... Но я понимаю, что Вам надо это знать...

Когда мы с Мишей поняли, что не можем жить друг без друга (он именно так сказал), — он очень серьезно вдруг прибавил: «Имей в виду, я буду очень тяжело умирать, — дай мне клятву, что ты не отдашь меня в больницу, а я умру у тебя на руках».

Я нечаянно улыбнулась — это был 32 год, Мише было 40 лет с небольшим, он был здоров, совсем молодой...

Он опять серьезно повторил — «поклонись».

И потом, в течение нашей жизни, несколько раз напоминал мне об этом.

Я настаивала на показе врачу, на рентгене, анализах и т. д. Он проделывал все это, все давало успокоение, и тем не менее он назначил 39-й год, и когда пришел этот год, стал говорить в легком шутовском тоне о том, что вот — последний год, последняя пьеса и т. д. Но так как здоровье его было в прекрасном, проверенном состоянии, то все эти слова никак не могли восприниматься серьезно...

Потом мы поехали летом на юг, и в поезде ему стало нехорошо...

Это было 15 августа 1939 года. Мы вернулись в тот же день обратно из Тулы (я нашла там машину) в Москву.

Вызвала врачей, он пролежал несколько времени, потом встал, затосковал, и мы решили для изменения обстановки уехать на время в Ленинград.

Уехали 10 сентября, а возвратились через 4 дня, так как он почувствовал в первый же день на Невском, что сплелет.

Нашли там профессора, который сказал, проверив его глазное дно, «Ваше дело плохо». Потребовал,

Михаил
Афанасьевич
Булгаков
умер 10 марта
1940 года,
не дожив
2 месяцев
до 49 лет



чтобы я немедленно увезла Мишу домой.

В Москве я вызвала известных профессоров — по почкам и глазникам. Первый хотел сейчас же перевезти Мишу к себе в Кремлевскую больницу.

Но Миша сказал: «Я никуда не поеду от нее». И напоил мне о моем слове.

А когда в передней я провожала профессора Вовси, он сказал: «Я не настаиваю, так как это вопрос грех дней».

Но Миша прожил после этого полгода. Ему становилось то хуже, то лучше. Иногда он даже мог выходить на улицу, в театр. Но постоянно ослабевал, худел, видел все хуже...

Мы засыпали обычно во втором часу ночи. А через час-два он будил меня и говорил: «Встань, Люсенка, я скоро умру, поговорим». Правда, через короткое время он уже острел, смеялся, верил мне, что выздоровеет непременно, и выдумывал необыкновенные фельетоны про МХТ, или начало нового романа, или вообще какие-нибудь юмористические вещи. После чего, успокоенный, засыпал.

Как врач он знал все, что должно было произойти.

Люди, друзья, знакомые и незнакомые приходили без конца. Многие ночевали у нас последнее время — на полу. Мой сын Женечка перестал посещать школу, жил у меня, помогал переносить надвигающийся ужас. Елена тоже много была у нас. Художники — Дмитриев и Эрдман каждый день приходили,



жили Ермолинские, сестры медицинские были безотлучно, доктора следили за каждым изменением...

Но все это было напрасно. Силы уходили из него...

Ноги ему не служили. Мое место было — подушка на полу около его кровати. Он держал (мою) руку все время — до последней секунды.

Девятого марта врач сказал часа в три дня, что жизни в нем осталось два часа, не больше.

Миша был как бы в забытьи. Накануне он безумно мучился, болело все. Велел позвать Сережку, положил ему руку на голову. Сказал: «Свету!»... Зажгли все лампы...

А девятого, после того, как прошло уже несколько часов после приговора врача, очнулся. Притянул меня за руку к себе. Я наклонилась, чтобы поцеловать. И он так держал долго, мне показалось — вечность, дыхание холодное, как лед, — последний поцелуй.

Прошла ночь. Утром десятого он все спал (или был в забытьи), дыхание стало чаще, теплее, ровнее.

И я вдруг подумала, поверила, как безумная, что произошло то чудо, которое я ему все время обещала...

То чудо, в которое я заставляла его верить...

Что он выздоровеет! Что это был кризис!..

И когда пришел к нам часа в три десятого марта Леонтьев, (...) большой наш друг (...), я сказала ему: «Посмотрите, Миша выздоровеет! Видите?».

А у Миши, как мне и Леонтьеву показалось, появилась легонькая улыбка...

Но, может быть, это показалось нам...

А может быть, он услышал?!

Через несколько времени я вышла из комнаты, и вдруг Женечка прибежал за мной: «Маменька, он ищет тебя рукой». Я побежала, взяла руку...

Миша стал дышать все чаще, чаще, потом открыл неожиданно очень широко глаза, вздохнул.

В глазах было изумление. Они налились необычным светом.

Умер.
Это было в 16 часов 39 минут — как записано мной в тетради...

Во время болезни я стала сначала записывать предписания врача, потом прибавилась полная запись дня: когда и какие лекарства принимал, что ел, когда и (как) спокойно спал. Потом — его слова, потом, в последнее время, его уходящие состояния — тяжелые минуты потери памяти (очень редкие), галлюцинации и, наконец, подробные записи последних дней его страданий, что его почти нельзя было узнать...

Я с ужасом думала — никогда не увижу Мишу, каким знала...

А после смерти лицо было успокоенным, счастливым, почти молодым. На губах — легкая улыбка...

Все это не я одна видела, об этом с изумлением говорили все видевшие его...

Он умрал так же мужественно, как и жил. Вы очень верно сказали о том — не всякий выбрал бы такой путь. Он мог бы со своим невероятным талантом жить абсолютно легкой жизнью, заслужить общее признание, пользоваться всеми благами жизни...

Но он был настоящий художник — правдивый, честный.

Писать он мог только о том, что знал, во что верил.

Уважение к нему всех знавших его или хотя бы только его творчество — безмерно.

Для многих он был совестью.

Утрата его для каждого, кто соприкасался с ним, — невозвратима.

Рисунки художников В. Дмитриева и К. Топляниновой были сделаны в ночь на 10 марта и 11 марта 1940 года.

